

Отщепенцы

Когда Наполеон I водил на бойню свои армии и беспрестанно требовал у Франции пушечного мяса, тогда случалось, что в деревнях крестьяне отказывались умирать во славу великого императора и бежали от набора. Какое было им дело до громкой славы и до полета наполеоновских орлов, которые залетали в Берлин, в Вену, в Ватикан и в Кремль! Облака порохового дыма не доносились до хижин, повисших на обрывах гор или заброшенных в глубину долин. Крестьяне были привязаны к своим зеленым лугам, к своим желтым нивам; они крепко держались за свою почву, как деревья, которые на ней выросли, и проклинали руку, вырывавшую их из нее. Люди полей, они не признавали такого закона, который мог бы лишить их свободы, обратить их в героев, тогда как они желали остаться крестьянами. Они не боялись опасности, не содрогались при рассказах о сражениях; их пугали не сражения, а казармы; не смерть страшила их, а жизнь. Славным походам по всему миру они предпочитали уединенные ночные прогулки вокруг хижины, где умер их старый дед с длинными седыми волосами, хотя бы гулять приходилось на глазах жандармов. Утром того дня, когда рекруты должны были отправляться в поход, они вставали до восхода солнца и укладывали свои мешки — мешки бунтовщиков, снимали со стен старые ружья, отцы давали им пуль, матери снабжали хлебом, и, распростившись, они заходили в конюшню взглянуть последний раз на лошадушку, а потом уходили и терялись в дали полей.

Их называли: «Отщепенцами».

Я буду говорить не о них. Мои «Отщепенцы» бродят в грязи городов, не обладают этими наивными добродетелями, не любят восход солнца.

Есть люди, покаявшиеся жить свободно. Вместо того, чтобы принять положение, которое свет предлагал им, они хотели сами добиться смелостью и талантами того места, которое им нравилось. Они думали, что могут силою своей воли разом достигнуть цели своего честолюбия, овладеть предметом своих желаний. Они не хотели смешаться с толпой и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него. Вместо того, чтобы идти по большой дороге, они побрели в сторону по полям и очутились в страшном одиночестве, в безлюдной степи. Я называю их «Отщепенцами».

Отщепенцы те, которые делали все и ничем не сделались; которые учились всему: правам, медицине, естествознанию, военным наукам, математике — и не приобрели ни чина, ни диплома, ни привилегии, ни ученой степени.

Отщепенец — профессор, сбросивший свою мантию, — офицер, променявший мундир на цветную рубашку волонтера, — адвокат, пошедший в актеры, — священник, сделавшийся журналистом.

Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проедают свои гроши и проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя вечную республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя.

Отщепенец тот, кто не стоит твердой ногою в практической жизни; кто не имеет ни профессии, ни состояния, ни ремесла; кто не может ничем назвать себя: не мастеровым, ни художником, ни чиновником, ни военным, ни доктором, не купцом, ни башмачником, ни священником; у кого нет ничего, кроме своей глупой или великой, жалкой или славной мании, — все равно, как и чем бы он ни занимался: или искусством, литературой или астрономией, магнетизмом, политикой или хиромантией; все равно, — чего бы он ни добивался: основать ли банк, школу или религию, журнал, фаланстер или республику.

Отщепенцы все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле; кто побрел наудачу, на произвол судьбы; все те бедные сумасброды, которые, выходя в жизнь, надели семимильные сапоги и очутились в лаптях, далеко в стороне от дороги.

Отщепенцы, наконец, все те люди, ремесло которых не показано в статистических списках: изобретатели, поэты, трибуны, философы и герои.

Свет хочет обратить их в мытарей, в рабочих своих мастерских, в узаконенных, прописанных деятелей; но они удаляются от него, хотят жить особою жизнью, незавидной и горькой.

Сельский отщепенец пользуется, по крайней мере, дружбой поселян, любовью деревенских красавиц. О нем говорят на вечеринках; он всегда найдет под каким-нибудь камнем запас пороха и хлеба. Ему приходится бояться только жандармов, да и то, если «голубые» подойдут слишком близко, он подымет дуло своего ружья... еще шаг — и он выстрелит.

Но столичный отщепенец идет без хитрости и притворства, среди свистков и смеха, с открытой грудью, неся пред собой, как светоч, свою гордость. Приходит гонение и нищета и задувают этот светоч, схватывают безумца и свергают в пропасть. Я видел храбрецов, людей великодушных, благородных, которые увядали и умирали, потому что бесстрашно насмеялись в глаза практической жизни, потому что презрели ее требования и опасности. И она отомстила им, погубив их смертью медленную, в продолжительной агонии, полной жестоких огорчений, тяжких страданий, бесчеловечных мучений.

I

Странные люди! Они всегда одинаковы; у всех замечается что-то общее, кто бы они ни были — гении или обыкновенные смертные, исторические герои или безвестные бедняки, люди, именами которых гордится потомство, или бродяги без роду и племени, без имени и

родства. Жертвы славы или нищеты, бойцы на мировой арене или в темных закоулках столиц — у них всегда есть общие черты, по которым их узнают во главе восставших против невыносимой тирании или в задних рядах умирающего с голоду пролетариата, впереди умных и честных людей или в толпе невежественной черни.

Да, общество узнает их, этих отщепенцев, и в рясе священника, и в рядах войска, и на кафедре науки, и среди писателей и простых рабочих. Оно узнает их, — а гонения, одиночество, насмешки и озлобление дают им знать, что оно узнало их.

Где же те общие черты, которые выдают их? По каким признакам узнает их общество?

Оно узнает их по нежеланию идти с ним рука об руку, по тому отвращению их к рутине, которое общество называет "непрактичностью", по тому шумному и грозному или молчаливому и подавленному протесту против него, который выражается во всей их жизни и даже в смерти, не смотря на их имена — прославленные или обесславленные, громкие или безвестные, памятные или забытые среди грохота революций и битв, или среди холода и голода грязных улиц.

Всего этого общество не прощает им, потому что они нарушают его спокойствие, лишая его пагубной самоуверенности, безмятежного довольства собою, веры в свой прогресс, в свою деятельность, в свое настоящее и будущее. Они отравляют ему наслаждение всеми его благами, заставляют находить горькими все блюда, которые подаются на пире званых и давиться всяким куском. Они предвещают ему скорый конец, быстрое разложение, смерть всему, что кажется ему вечным, необходимым, абсолютным, чем оно дорожит и без чего не мыслит себя. Оно право в этой ненависти к предтечам своего падения, к зловещим птицам, которые каркают на его кровле, нарушают его покой и возбуждают тяжелые предчувствия и опасения Оно право, потому что обществу, в котором таких людей много, действительно грозит беда. Конечно, эта беда грозит ему не от его отщепенцев: птицы, покидающие свои гнезда на кровле дома, объятых пламенем, вовсе не виноваты в пожаре. Не потому общество гибнет, что наиболее совестливые, смелые и дальновидные люди отрекаются от него, а потому они и отрекаются, что видят ложность или гнилость его основ и предвидят его падение. Общество поступает, как суеверный, убивающий собаку, которая роет яму под его окном или воеет у его ворот. Конечно, она не подрывает его дома; если дом рухнет, то просто потому, что сгнил или был выстроен на песке. Но если это копание ямы, этот вой нарушает внутреннее спокойствие человека; если они возбуждают в нем мрачные предчувствия; если эти предчувствия мешают ему проводить безмятежно и весело последние дни, которые ему еще осталось прожить, прежде чем он будет погребен под развалинами своего жилища, то он, пожалуй, будет прав, убив нарушителя своего спокойствия. Неправ он только в том отношении, что не сознает или не сознается, что поступает таким образом с досады, из желания сорвать на ком-нибудь злость и обеспечить себе покой на последние дни. В этом отношении несправедливо и общество к своим бедным отщепенцам: оно вооружается против них, будто бы они подкапываются под него, подрывают его основы, словом, будто все зло идет от них, а без них все обстояло бы благополучно... Нет, вся вина их в том, что они видят беду раньше других, не могут в виду ее хранить спокойствие и не хотят плясать на вулкане вместе с прочими. Они видят, что эти несчастные уже обречены на смерть, что они — живые трупы, и не хотят за одно с ними

ждать катастрофы или, по крайней мере, не могут, предвидя ее, предаваться веселости и тешиться своей цивилизацией, своим прогрессом, своим искусством и наукой, развитием и надеждами, тогда как на всем этом уже лежит печать смерти, когда все это уже приняло *faciem hipocraticam*. Это вечная история Ноя и его семейства, с тою только разницею, что отщепенцы не помышляют о собственном спасении, не могут строить себе ковчега, который унес бы их далеко, далеко от обреченного на гибель общества. Они могут спасти только свое человеческое достоинство, свое нравственное чувство, свое самоуважение; но физически они принуждены разделить гибель общества, если только еще раньше не погибнут от его негодования, от досады его разбитого самообольщения и отчаянной веры в себя, — а это случается всего чаще.

Ничего не может быть бессмысленнее тех гонений, которые общества всех времен поднимали с удивительным однообразием против своих отщепенцев. Между последними не все, конечно, довольствовались отчуждением от общества, гордым отстранением себя от него, отрешением своей судьбы от его участи. Не все ограничивались добровольным изгнанием себя в какую-нибудь действительную или моральную Фиваиду. В числе их всегда находились люди, которые не могли помышлять только о личном своем спасении: находились и такие, которые хотели открыть глаза другим, указать на признаки приближающейся катастрофы и убедить своих современников сойти с дороги, которая ведет к пропасти.

Такие люди не только не скрывали причин своего разрыва с настоящим, но громко указывали на них и объясняли, почему они не хотят оставаться на общих путях и говорили обществу о гнилости и ветхости его основ. И за это глупцы осуждали их, кричали, что они виновники зла, что надо спасать общество от их критики, спасать верования и убеждения от их отрицания... Вечное, постоянно повторяющееся заблуждение! Как будто здоровым, живым принципам, тем, у которых есть будущность и которым в настоящем принадлежит не один только материальный мир, не одни только фактические отношения, но и вера людей, и нравственный мир общества, как будто им страшна какая бы то ни была критика?! То, что живо, то, чему верят искренно, не нуждается в защите силой, в ограждении от отрицания и в материальном покровительстве. Да и никто не помышляет нападать на него. Принятие какого-нибудь принципа под защиту общественной силы есть признак его смерти: живых не бальзамируют.

Когда инквизиция стала защищать систему Птоломея; когда принялись кричать против безумия отрицателей, колебавших веру в устарелое и нелепое мирозерцание; когда несомненный, по-видимому, факт неподвижности Земли стал горячо отстаиваться и церковными проклятиями, и действительными мероприятиями — уже одно это, помимо всяких научных доказательств, могло служить свидетельством в пользу Коперника. Пока верили, что Солнце обращается вокруг Земли, никому, конечно, не приходило в голову рассуждать о безнравственности противного мнения и брать с людей расписку в том, что они не сомневаются в этой истине и никогда не будут отрицать ее. Следовательно, все крики против отрицателей происходят от неверия, от потери доверия к принципам.

Отщепенцы своим разрывом с обществом словом или делом отрицают истину его принципов, смысл и нравственность его теории и практики, и общество с ожесточением

преследует их! — Плохой для него знак! Значит оно само в себя не верит, не верит в свою веру, в свою нравственность, в свое добро, в свое достоинство, а другого оно не понимает, не видит и не хочет. И вот оно, неверующее, защищает верования; отрицающее само себя, преследует отрицание, между тем как отрицатели — единственные верующие в нем люди. Без отрицания нет веры, как без веры нет отрицания. Как для того, чтобы иметь право отрицать, нужно во что-нибудь верить, нужно отрицать во имя чего-нибудь высшего, так и веру можно сохранить в падающем или развращенном обществе только отрицанием.

В гнилом обществе все идет на выворот: атеист делается инквизитором и ожесточенно преследует малейшее отступление от догмата; развратники отстаивают нравственность; юридические убийцы вопиют против отрицания права; спекуляторы, откупщики и игроки призывают мщение небес и людей на оспаривающих собственность; взяточники поют о бескорыстии; люди сами в себя неверующие, разглагольствуют о святости убеждений, и мушары составляют заговоры! Всякий чувствует надобность что-нибудь отстаивать, защищать, спасать от отрицания и отпадения, и никто не видит ни малейшей нужды соглашать слово с делом, принцип с фактом, убеждения с жизнью. Чем высокопарнее рассуждают о святости принципов, тем позорнее контраст между речами и делами, чем выше превозносятся и чем жарче отстаиваются принципы, тем унижительнее и нелепее компромиссы, заключаемые на каждом шагу с обстоятельствами.

Обманывать самого себя нельзя долго при таких условиях: вскоре приходится внутренне разочароваться и, пройдя ряд этих компромиссов, утратить уважение в себе, начать лицемерить и сознательно лгать. Тогда начинается полное безобразие: компромисс возводится в догмат, в теорию, в учение; все обращается в реалистов, и ничто не подвергается большему презрению и осмеянию, как несогласие на компромиссы, сопротивление факту практической жизни, короче — непрактичность, отщепенство.

Таким образом водворяется царство лжи. Все лгут и словом, и делом, потому что говорят не то, что делают, и делают не то, что говорят. Всякая деятельность, кроме переливания из пустого в порожнее и жадного пользования всеми мелкими и скудными крохами счастья, возможного в таких условиях, исчезает и становится немыслимой. Можно ли что-нибудь делать, кроме узко-эгоистического пожирания ближних, когда наперед знаешь, что все, что ни сделаешь, что ни скажешь, будет ложь? Общество превращается в толпу авгугов, которые только потому не смеются громко друг над другом, что всем им не до смеху, так как каждому предстоит или ограбить других, или самому быть ограбленным.

Очевидно, что о живой, плодотворной деятельности здесь и речи быть не может. Каждый политический деятель во всех своих действиях знает, что они лживы и ни к чему не ведут, и знает, что таковы же действия всех прочих. Он смотрит на себя, как на обманщика, а на деятельность свою как на комедию, и все честолюбие его, как у Августа или Пальмерстона, обращается на то, чтобы хорошо разыграть эту комедию. Каждый писатель знает, что все, что он говорит, не имеет ничего общего с действительностью, и сам же первый не поступает по своей проповеди, а вместо того на каждом шагу заключает компромиссы с условиями жизни. Литература обращается в риторическое упражнение и теряет всякое значение, вместе с потерей самоуважения и уважения общества. И читатели смотрят точно также на литературу, как на средство приятно провести время, но вовсе не как на

выражение известных принципов, согласие с которыми обязывает к соответствующему им образу действий. Да ведь и нелепо было бы увлекаться речами людей, которые сами очень хорошо знают, что говорят попусту, без всякой дели, без всякого искреннего желания чтобы им поверили, и без надежды найти такую веру.

Политика обманов, литература риторики, религия *ex officio*, все частные и общественные отношения, построенные на взаимном недоверии и надувательстве — может ли это вместить в себе деятельность искреннюю, горячую, плодотворную? Нет, такое общество ожидает катастрофа, если только отщепенцы не спасут его. На краю гибели оно воображает себя деятельным, а в сущности находится в летаргии; оно толкует о бесплодности отрицания, а само неспособно ничего создать и даже поддержать самого себя; оно рассуждает о практичности, а само толчет воду, ничего не делает для завтрашнего дня, идет в смерти и не хочет сознаться, что умирает. Беда ему, если оно не послушается голоса своих отщепенцев, если им не удастся вдохнуть в это почти безжизненное тело животворный дух своего полного веры отрицания, повести его прочь от его рутины на свой путь истины, добра и чести. Еще несколько времени пребывания во лжи реализма, еще несколько побед над отрицателями, — и общество впадет в то страшное состояние полного разложения и упадка, которое такими потрясающими чертами изобразил один знаменитый отщепенец — Прудон.

II

«Теперь все сознаются, как Брут, что человеческая природа никуда негодна, что справедливость только пустое слово, так как, при опыте применить ее к жизни она оказалась незаконною и противоречивой, и ничто не дает права надеяться на лучшее устройство. Государство оказывается произвольным учреждением, годным только для интриганов и честолюбцев; религия — гаерством и орудием деспотизма. Каждый уходит в свой эгоизм или в свою добродетель. Сколько вначале было чистосердечия и энергии, в отношениях, столько теперь в них проявляется недоверия и мрачной подозрительности. Общество, незаметно удаляясь от справедливости, подошло к пропасти разврата. Что станет с ним? Проследим шаг за шагом весь скорбный путь его разложения.

Как скоро вера в справедливость поколебалась, — идеал, который ее поддерживал и сохранял в государстве и в народе, в общине и семье, — пал; на его место является новый идеал. Человек — идеалист, и, пока в нем остается хотя капля смысла, он всегда руководствуется идеалом. Но при упадке человека, падает и его идеал.

„Справедливость лжет, — говорят люди практики; — право ложно, двусмысленно, противоречиво; судья пристрастен, невежественен. Истина в тех случаях, когда она не общее только место, которое никому ненужно, оклеветана; она нам помеха; добродетель заподозрена, плаксива и всегда попадает в просак. Но богатство никогда не обманывает того, кто им обладает и умеет пользоваться; богатство — сама доброта; оно синоним красоты, потому что всегда нарядно и блистает золотом и драгоценными камнями. Что так идет к красоте женщины и достоинству мужчины, как богатство? Власть, крепко утвержденная и ловко употребляемая, также не обманывает. Счастлив тот, кому

покровительствует отец-Юпитер: он будет украшен венцом, будет обладать богатством, честью и славою; исполнятся все желания его; враги его будут пресмыкаться у его ног, и сердце его будет всегда преисполнено гордостью и весельем. Любовь и сладострастие тоже никогда не обманывали своих поклонников. Любовь заставляет страдать только тех, кто задумал примирить ее со справедливостью; сладострастие приносит вред только грубому человеку, злоупотребляющему им.

Мудрый Эпикур, ты сказал: наше высшее благо, наш желательнейший идеал — наслаждение. Наука, конечно, почтенна и заслуживает поощрения, равно как и труд; но и то, и другое лишь средства к достижению богатства, власти, наслаждения. Богатством, властью, наслаждением — этими тремя словами исчерпывается весь смысл цивилизации; в них вся человеческая мудрость. Боги наслаждений — Венера, Бахус, Комус! будьте к нам благосклонны. Пусть мы не мудрецы, за то умеем наслаждаться жизнью! Что вы нам толкуете, жрецы, о муках и наградах загробной жизни? Расставшись с телом, душа может наслаждаться лишь эфемерно, и вы должны сознаться, что материальные удовольствия, которые вы так преследуете, не лишены и идеальной стороны. Пусть бы только все люди, все наши ближние могли бы наслаждаться, как мы, богатством, властью и сладострастием! Но так как, по неисповедимым судьбам, три четверти человечества осуждены на работу без конца и отдыха, то можно ли вменять в преступление нам, счастливым и избранным земли, что мы бросаем норою несколько цветов в эту страшную бездну нищеты и, утопая в наслаждении, провозглашаем братский тост трудящемуся и лишенному наследства человечеству?

Так, во имя человеческого достоинства, которого высшим выражением должна была быть всегда справедливость, совершается разрыв между правом и идеалом. Чем же кончается?

И вот, каждый следует своей страсти, создает себе свой идеал, повинуется своему личному чувству, извлекая все выгоды из недомолвок закона, обижая и обирая своего ближнего, обманывая, воруя, грабя, убивая не теми грубыми способами, которые, предусмотрены в законе, но пользуясь теми лазейками, которые лучшие законодательства оставляют открытыми для людей с погибшим чувством долга. Напрасно тогда умножать законы: злодейство изобретательнее законодателя; в каждом новом постановлении его оно отыскивает для себя новые средства избежать кары закона. „Чем хуже состояние общества — тем больше законов“ — говорит латинская пословица. Пускай правительство прибегает в диктатуре и, подобно Августу, замышляет восстанавливать нравы: попытки его бессильны и только яснее обнаруживают общее разложение. Да и само оно вскоре погибает в общем потоке. Нет власти, которая могла бы устоять против бесчестного заговора целого общества. Под личиной мира общество ведет само с собою войну и погибает под собственными ударами.

Рисуя эту картину общественного гниения, автор не забыл и отщепенцев:

Несколько времени еще, говорит он, более сильные бойцы, подобно полководцам армии, обратившейся в бегство, стараются противостоять лозунгу: «Спасайся, кто может!» удерживая бегущих, подавая пример мужества, напоминая о справедливости со всею силою своей энергии и обещая спасение в преобразованиях. Но их не слушают: они досаждают, и несговорчивый эгоизм указывает на них, как на врагов власти, как на язву общественного

сознания. Свершилось! Бедный хочет в свою очередь наслаждаться и, не разбирая средств, сделаться богатым. Буржуа хочет быть аристократом, сельский священник — архиепископом, солдат — полководцем, гражданин — первым консулом, пройдоха — императором! Сладострастие отпращает от брака и губит семью; толпа без крова и пищи, без убеждения и веры, требует хлеба и зрелищ. Сама власть провозглашает лозунг: «Богатейте и наслаждайтесь!» Сначала ей удается поддерживать общее оцепенение под благовидными формами; но потом, при взрыве нравственной и умственной анархии, увлекаясь сама в кипящий водоворот, без принципов, без права, вынужденная к самозащите, — она обращается в пустой призрак. Это становится сигналом отступничества, рабства, порчи, лжи, фаворитизма, контрабанды, соvrщений и извращений всякого рода. Война разгорается: чем более развивается лихорадочная страсть в наслаждениям, тем быстрее уменьшаются средства к ее удовлетворению. Чем страшнее тирания — тем менее ей средств к самозащите: каждый гражданин, по образу и подобию власти, замышляет в тайнике души своей, взволнованной ненасытными желаниями, свой заговор против власти. Кризисы, банкротства, убийства — мелкая монета разлагающегося государства. Эксплуатация, разврат, кража, организованная на широкую ногу явными или тайными обществами, служат выражением отчаяния сознаний, платящих общественной тирании личным мщением и злодеянием. Среди этого разбоя, идеализм, ведущий к справедливости, быстро развращается: искусство и литература, ставшие подспорьем похоти, падают; философия расплывается в поток бессмысленных слов: мизантропия заменяет общительность; ненависть прокрадывается между супругами, братьями, согражданами; наконец, грубость чувств, получая перевес над блеском роскоши и утонченностью наслаждений, приводит погибающее общество во мрак варварства и преступлений.

Версия #17

Зверобой создал 3 июня 2026 00:33:55

Зверобой обновил 3 июня 2026 09:20:28